

## КРУГОЗОР

**Е.Н. МОТОВНИКОВА, доцент  
Белгородский государственный  
университет**

### **Н.Н. Страхов: ИСКУССТВО МЫСЛИ И ИСКУССТВО СЛОВА**

*В статье проводится анализ некоторых герменевтических особенностей («хитроумия») языка и стиля письма Н.Н. Страхова. Они затрудняли восприятие его философского творчества ближайшими современниками, но важны для появления интереса к его наследию в научно-гуманитарном сообществе нашего времени.*

Ключевые слова: философия, критика, метод, искусство, основательность, скептицизм.

«...Позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны, пристойны и правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период, затейливый и полнозвучный, с наибольшей и доступной вам простотой и живостью передавали то, что вы хотите сказать; выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла».

*Мигель де Сервантес Сааведра*  
Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский

Один из самых значительных хранителей и защитников вечных идеалов, «вечных истин», как он сам их называл, без которого нельзя адекватно представлять умственную жизнь России второй половины XIX века, Н.Н. Страхов, думается, важен и интересен для истории философии и культуры, прежде всего – именно своим на редкость полно выраженным в текстах сознательным отношением ко всему. Его необыкновенная личная конкретная рефлексивность («хитрость», как многие это тогда называли), в силу обстоятельств его жизни захватывавшая самые разнообразные сферы и контексты интеллектуальных разговоров, в некотором смысле – «энциклопедия русской жизни», в другом же – увлекательный психологический «случай», загадка личности – противоречивой и притягательной.

В чем секрет пресловутой страховской «хитрости»? Почему, как ни к кому другому, пристала к нему характеристика «фаль-

шивого» человека? <sup>1</sup> Вообще говоря, это популярное словцо в публицистике 1860–80-х гг. встречается, в том числе и у самого Н.Н. Страхова, чуть ли не в каждой статье: «фальшивые явления», «лицемерие», «лукавство», «уклончивость», «ухищрение», «коренная фальшь», «уродливые и извращенные формы» и т.п. Надо полагать, хитрость не была никогда редкостью в России. Чем же страховские хитрости так впечатлили современников? В XX веке Страхов скандально прославился тем, что «оклеветал» великого Достоевского в переписке с Толстым. Но, во-первых, Страхов нелицеприятно высказался о Достоевском только в частном письме, в частных же разговорах неприкасаемых лиц и закрытых тем нет; письмо должно было быть уничтожено, и, стало быть, хитрости в этом никакой быть не могло. Ни в этом, ни во всех других многочисленных случаях нелестных оценок и высказываний Страхова о ком бы то ни было – от А.А. Фета и Ап. Григорьева до

<sup>1</sup> «... из Страхова никто ничего положительного не извлечет, у него все только тонкая и верная критика, да разные “уклонения”, “умалчивания”, “нерешительность” и “притворство”. ... Владимир Соловьев правду говорит, что характер его очень непонятный и сложный: и добросовестен, и фальшив и т. д.». (К.Н. Леонтьев – В.В. Розанову 24 мая 1891 г.) [1, с. 34].

Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, включая и К.Н. Леонтьева, и В.С. Соловьева, и В.В. Розанова, и многих других, с кем был хорошо знаком и к кому внимательно приглядывался Н.Н. Страхов, – никакой прямой заведомой лжи, клеветы, злословия, личного недоброжелательства мы не встретим. Напротив, повсюду можно найти именно внимательно исследующий человеческую природу взгляд, тонкий психологический анализ мотивов, влияний обстоятельств и проявлений личностной оригинальности (самобытности) каждого человека. Страхов сам жил трудной жизнью, был трезво реалистичен, подолгу разбирался в людях, – разумеется, порой и ошибался, но не спешил очаровываться, а потому и редко разочаровывался в ком-то. Он был воспитан в православии и всегда знал греховность осуждения чужих слабостей, но, как литератор, любознательный ученый и просто человек, не обсуждать людей не мог. Замечания его, впрочем, довольно точны и существенны – уже хотя бы потому, что с ним вели разговоры о тонких душевных проблемах живых людей и литературных персонажей умнейшие и значительнейшие фигуры 60–90-х гг. XIX столетия.

Но что за хитрость обнаруживается в работах самого Н.Н. Страхова как писателя и какого именно рода эта хитрость?

Согласно В.И. Далю, старшему современнику Н.Н. Страхова, «хитрость» имеет два основных значения: «уменье, искусство, художество; умственная ловкость, изворотливость, тонкость и острота соображений» и – «лукавство, коварство» [2, с. 548]. Хитроумие как искусство, опытность, техничность, высокое мастерство научно-философского исследования отмечены всеми ценителями страховского таланта. «Полная простота и общедоступность изложения неотъемлемо свойственны этим самым простым книгам о самых мудреных и темных вопросах. Он вежлив и деликатен с мыслями и мнениями, как с людьми, не обнаруживая притом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или несогласия.

Насмешки, желчи в них нет и помина, хотя читатель очень часто встречается с тонкой, осторожной, но тем более меткой и едкой иронией. ... В своеобразной рассудительности его шуток особенно ярко проявляется основная манера Страхова: он всегда писал простодушно, хотя рассуждал хитроумно. Он писал как будто не теми словами, какими думал. Осторожность и отвлеченность, прозрачность выражений, ... так изысканны и в то же время просты у Страхова, до такой степени предоставляют читателя мыслям автора, ничего ему не подсказывая слогом, что многие склонны смешивать их с неискренностью. ... То, в чем иные склонны видеть хитрость или лукавство, было в сущности величайшей добросовестностью, учтивостью мысли этого аскета стилистики» [3, с. 6–7].

Этой характеристике страховских работ, данной Б.В. Никольским, вторит и В.В. Розанов: «Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы могли выделить которые-нибудь из них, и, забыв остальное, сохранить только их. И, что в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайной сложностью и тонкостью, они трудно усвоимы, – и это несмотря на совершенную прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно выражены, – но сами по себе, именно как мысли» [4, с. 7]. Об этом же Розанов неоднократно писал самому Н.Н. Страхову: «Знайте, нет ничего труднее Вас для разбора, это говорю я, читавший и перечитавший все Ваши статьи. ... Не писали ли Вы почти о всем Вас занимающем в каждой книге хоть по несколько, однако, значительных строк; и как критику не растеряться в всем этом, да еще перепутанном с множеством критики чужих взглядов» [4, с. 239]. Наконец, и сам Страхов легко употреблял слово «хитрость» при характеристике способа своего изъяснения: «Сам же я пишу всегда с хитростью, то есть, выставляю объективно в виде вопроса то, что составляет мое прямое убеждение» [5, с. 135]. «Всегда» в этой фразе можно понимать буквально: одни и те же

приемы хитроумного построения можно наблюдать в работах Страхова разного времени написания, масштаба и жанра.

Одна из наиболее показательных в этом плане – статья «Жители планет», написанная для журнала «Время» еще в 1860 г. и вошедшая без изменений в оба издания главной книги Н.Н. Страхова «Мир как целое» (1872 и 1892 гг.). Еще при первой публикации многие прочитавшие эту статью решили, что автор верит в существование инопланетного разума. Однако статья много раз воспроизводит в разных вариациях основной тезис: «Понятие об иной жизни, отличной от человеческой, глубоко и крепко коренится в человеческом духе. Как легко видеть, оно имеет значение величайшей важности, потому что неразрывно связано с тем смыслом, какой мы придаем нашей земной жизни» [6, с. 217]. «Человек недоволен своей жизнью, он носит в себе мучительные идеалы, до которых никогда не достигает, и потому ему нужна вера в нравственное разнообразие мира, в бытие существ более совершенных, чем он сам. ... То есть человек расположен верить, что сущность его нравственной жизни может проявиться в несравненно лучших формах, чем она является на земле» [6, с. 230]. В эту основную тему вплетается «прихотливо» (В.В. Розанов) множество интересных и отнюдь не второстепенных по важности историко-научных наблюдений о Гюйгенсе, Вольтере, Фонтенеле, идей о природе утопического сознания, о соотносительной ценности знаний и свободной избирательности ума, о теоретической и практической мудрости, о доказательности и языковой основе логической ошибки отвлечения (гипостазировании понятий), об универсальности законов природы, о пространстве и времени и пр. Как резюмировал в своей рецензии В.В. Розанов, «г. Страхов бросает освещающие мысли в обе стороны – в мир нравственных движений человека и в наиболее темный для разумения мир безжизненного вещества» [6, с. 529–530].

Как бы между прочим Н.Н. Страхов дает в «Жителях планет» формулу, помогающую истолковать его методическую хитрость и совпадающую по духу с повторяющимися в письмах к Толстому и Розанову заявлениями о предпочтительности молчания – в условиях невозможности высказаться вполне и вполне быть понятым. Он пишет: «Молчание есть мудрость тех, кому нечего говорить. Мудрость эта не постыдная и не маловажная, потому что она требует умения ясно отличать действительную мысль от всякого другого, что бродит в голове. Но вовсе молчать нельзя, а молчать об одном и говорить о другом – очень опасно, потому что не проговориться нет никакой возможности. Выразив определенное мнение о каких-нибудь предметах, мы вместе с тем неизбежно определим взгляд наш на другие предметы, о которых, по-видимому, умолчали самым тщательным образом» [6, с. 210]. Сказать посредством утаивания – один из характернейших страховских приемов, веское основание для обвинений в хитрости умолчания, способ сказать не для всех, но для тех, кто и сам уже почти понимает, свою мысль движется в том же направлении.

И Толстой в 1873 г., и Розанов через двадцать лет, оба его лучших читателя, осудили Страхова за это «лукавство», не оценили его иронии, чем изрядно огорчили, но зато заставили пространно высказаться, что случалось с уклончивым и скрытным Н.Н. Страховым нечасто. «Вы сейчас заметили, что я слишком легко трактую о недовольстве жизнью и не упоминаю об религии. Я ее тогда не понимал... Вот я и порешил – напечатать и тогда, закончив один период мыслей, искать выхода, сознательно пойти против самого себя, начать новую мысль, опираясь на старую. Новый взгляд должен быть не ниже старого и, следовательно, удерживать всю долю истины, которая есть в старом. Мне было бы очень трудно, если бы я вздумал Вам рассказывать разные зачатки мыслей, которые у меня бродят... Мне хотелось бы, однако же, спуститься

до корня и взяться за теорию познания, в которой, мне кажется, уже заключена вся сущность дела» [7, с. 22–23].

Таковы были планы философа после первого издания книги, но и после двух десятилетий упорной работы над вопросами психологии и философии познания Страхов снова вынужден защищаться от упреков в том, что он «не договаривает своих мыслей до конца. ... Здесь сказывается не одно опасение впасть в ошибку, сказать что-либо определенное о предмете, столь трудно определенное. Сверх этого, тут есть нежелание обнаружить самые заветные, быть может, из своих убеждений перед толпой, каковою, в конце концов, не могут не представляться каждому автору его читатели. ... Уг. Страхова есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим читателям, – и, желая влиять на них, говоря все, что могло бы наилучше образовать их ум и сердце, он не говорит еще самого интересного, что мы могли бы узнать от него» [6, с. 546–547]. Страхов не только очень удивился тому, что В.В. Розанов «подхватил» тему А.Н. Толстого, но и решил, по долгом размышлении, что это требование полной откровенности есть требование «странное» и для него невозможное: «Разве я не правдивый и добросовестный писатель? Когда пишу и не нахожу надлежащего слова или не вижу правильного развития мысли, я просто не могу писать, останавливаюсь. ... А что я не высказываюсь до конца, то ведь потому, что это гораздо труднее, чем полагают те, кто этого требует. Есть знаменитый пример – Платон; его разговоры не имеют окончательных выводов. Главное дело в том, чтобы рассуждать, мыслить; а поприще мысли мне всегда казалось безбрежным океаном» [8, с. 911]. «Ведь моя объективность и есть выражение моего ума, моей природы. Я не могу говорить о своих личных делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно заниматься собою и занимать других своею личностью. Мне кажется всегда, что это не может быть для других занимательно, и потому я берусь за их дела, за их интересы, или рассуждаю об общих,

объективных вопросах. ... Я очень ясно вижу свою слабость и скудость и потому высоко ценю всякую силу и способность других, а главное — ищу всегда общей мерки чувств и мыслей, а не увлекаюсь своими мгновенными расположениями, не считаю своих мнений и волнений за норму, за пример и закон» [8, с. 909–910].

Такую самооценку Н.Н. Страхова, его абсолютно бесхитростную и бескорыстную скромность вполне подтверждает и впечатление Б.В. Никольского: «В мышлении, разговорах, в своих произведениях он опять-таки отличался той чисто монашеской, почти наивной серьезностью, с которой взвешивал каждую высказанную ему мысль, каждое прочитанное им мнение, тем глубоким и непосредственным восторгом, тем простодушным и искренним любопытством, с которым готов был восхищаться каждым оригинальным взглядом или суждением, каждым мало-мальски даровитым произведением науки или искусства, наконец, каждым проблеском таланта вообще, в чем бы тот ни проявился» [3, с. 6].

Самый трудный и самый главный вопрос в страховском творчестве – вопрос о познании как предметном мышлении и самопознании. На эту проблему он неизменно выходил и со стороны историко-философского анализа, и в контексте естественнонаучных задач; в особенных склонностях и культивируемых привычках современного мышления об обществе, истории, смысле жизни и деятельности он видел и истоки социально-политических проблем России и Европы своего времени. Свое понимание правильного метода решения проблемы познания и некоторые результаты применения диалектики понятий к тайнам души Н.Н. Страхов изложил в работе «Об основных понятиях психологии и физиологии», которая была оценена и привела Страхова в ряды почетных членов Психологического общества; вновь показала высочайшее дидактическое мастерство Страхова в истолковании Сократа и Декарта. Но острая остановка перед субъективностью,

перед непознаваемостью познающего Я методами экспериментальной психологии спровоцировала новую волну упреков в хитрости, в уклонении от решительного выбора между философско-психологическими «лагерями».

Удивительный пример «извращения» яснейшего положения Н.Н. Страхова о том, что сознающее свои объекты сознание само не может быть объектом ни для себя, ни для кого другого, можно увидеть в симпатизирующих в целом страховской философии статьях Алексея Ивановича Введенского под общим названием «Общий смысл философии Н.Н. Страхова». В статье второй он так представил ход страховских размышлений: «Душа есть область темная и таинственная, которая едва ли допускает те же самые [научные] приемы исследования. И как же, после всего этого, апеллировать против приговора науки к свидетельству непосредственного чувства и внутреннего опыта?!... Так говорил дух-искуситель. Его голос звучал так искренно, и аргументы казались так убедительными, что философ невольно поддался их обаянию. – Да, – сказал он, – внешний мир – вот “настоящий предмет нашего познания, наш настоящий объект”» [9, с. 1]. Можно только порадоваться, что Страхов уже не прочел о себе, как он, философ, невольно (!) поддался «кажущимся убедительными» аргументам и поверил «духу-искусителю», что научные методы не подходят к внутреннему опыту, а «объект» может быть только «вне» субъекта. Горько было бы читать Н.Н. Страхова и продолжение о своих «хитростях»: «...Философу понадобился, употребляя его собственное выражение, некоторый “особенный поворот мысли”, чтобы, сделав эти допущения, уйти от тех выводов, с которыми они стоят в необходимой логической связи, и против которых он возвысил протест во имя фактов своего внутреннего опыта, – от выводов, по которым человек есть животное и т. д. ... “Поворот” действительно совершился: с точки зрения точной науки и эмпирии философ быстро и решительно перешел на точку зрения идеа-

лизма» [9, с. 2]. (Сколько раз пытался Страхов дистанцироваться от этих кульбитов со всяческими «-измами»!) Пересказывая в своей статье картезианский пассаж страховской работы, А.И. Введенский интерпретирует его как выражение страховского идеализма. Идеализм усматривается в том положении, что мы для осознания своей обычно смутной и непостоянной внутренней жизни согласуем ее в мышлении с идеями истины, нравственности, свободы – идеями, не имеющими эмпирического происхождения, придающими настоящий, действительный характер нашей жизни. «В этих-то идеях и лежит, по мысли нашего философа, ключ к пониманию всей действительности, сначала нашей внутренней, а затем и всей вообще, и с них-то именно и должна была бы начинаться психология, так как без них “нельзя иметь представления о душе и ее жизни”» [Там же]. И здесь у А.И. Введенского снова явная натяжка – мысль не «нашего философа», а развернутый комментарий к Декарту, ключ – не к пониманию «всей» действительности, а к пониманию понимания – к познанию то есть [10].

Поразительны терпение и терпимость, с какими Страхов вступал в дискуссию с любым оппонентом – видимо, и это спокойствие было принято за лукавое лицедейство, за хитрое притворство. Между тем внимательное чтение статей и переписки постепенно убеждает: нет, Страхов действительно умел «переваривать» всё: «Никогда я не сужу о писаниях по тому, согласен ли я с ними или не согласен. Но если мне слышится чувство, работа ума, творчество, даже злоба, даже ярая чувственность – я доволен, потому что передо мною живое явление, которое мне годится, лишь бы я умел употребить его с пользою» [7, с. 326]. Ясно понимая, что расходится с приверженцем другой точки зрения на некоторый вопрос, Страхов всегда старался вызвать оппонента на спор, на разъяснение своих аргументов, на обсуждение конкретных пунктов разногласия. Особенно важно было для Страхова видеть логику, метод

рассуждения, и он, вскрывая достоинства и недостатки чужих «постановок», никогда не прятал и своих, но наоборот, всячески провозглашал и демонстрировал свою излюбленную гегелевскую диалектику понятий, радовался всякому критическому указанию на свои ошибки. «...Если Вы стали рассуждать, – нужно, чтобы виден был Ваш метод, Ваши приемы. Иначе никогда не будет видно, что Вы исчерпываете предмет, что смотрите на него с наилучшей точки зрения» [1, с. 239]. И эта критичность и методичность – не просто гегельянский предрассудок или привычка, а совершенно осознанно, искусно, творчески применяемое средство добиться прояснения, продвижения в труднейших познавательных проблемах через настойчивое отсеечение заблуждений и ошибок.

Не следует думать, что Страхов был «хитер» только в положительном, конструктивном смысле. Так, наверное, не бывает – всякий последовательный скепсис, метод без теории, отказ от принятия на веру без критической проверки какого бы то ни было положительного основания, заведомо непрекаемой истины чреват потерей устойчивости. Страхову это состояние было хорошо известно и, как всякая слабость, тщательно скрывалось от поверхностно подозрительных оппонентов. Им, убежденным последователям и проповедникам своих партийно-обличительных «символов веры», было непонятно страховское нежелание «выбросить знамя», определиться окончательно – сказавшись хотя бы полноценным толстовцем, – но нет, и к этому своему кумиру Страхов сумел остаться в неприсоединившемся, «трезвом» отношении. И довольно хитро объяснял Толстому свое «неприсоединение»: «Как быть, как писать, когда кругом непобедимый фанатизм, и когда всякое доброе начало отразилось в людских понятиях в дикой и односторонней форме? И разве я один в таком положении? Все серьезные люди терпят ту же беду и часто принуждены молчать. Таково положение России, что между

революционерством и ретроградством нет прохода; эти два течения все душат. Поэтому то, что Вы сделали, Ваше заявление самобытной религиозной мысли – я считаю великим делом; но ведь для этого нужно было то, что в Вас есть и чего у меня нет, да и ни у кого другого нет» [7, с. 404].

Н.Н. Страхов не мог отрицать и не отрицал своей литературной хитрости-изобретательности – стремясь к максимальной полноте и глубине выражения мысли, он пользовался самыми разнообразными приемами и стилями, чем, видимо, заодно удовлетворял свою литературно-эстетическую потребность, иногда в ущерб научно-философской точности и ясности. В переписке Страхов этим вопросам отводит много места, внимательно прислушивается к критике и признает свои неудачи в поисках адекватных форм выражения. «Вам не нравится, когда я принимаюсь шутить (напр. Жители планет); я и прежде догадывался, что как только я оставляю сухие, холодные рассуждения (так отозвался один приятель вообще о моем писании), так у меня выходит что-то странное. Из этого для меня следует тот вывод, что я не могу дать живого, теплого тона тому, что пишу. Нечего делать; придется вперед оставить попытки на глубокомысленную и тонкую шутливость» [7, с. 21–22]. «Если бы я задался известным тоном, то я знаю, я бы выдерживал его долго и все преувеличивал бы в известном направлении. Зачем же я буду обманывать себя и других?... Я сам от себя не могу добиться правды!... Я ничего не чувствую просто и прямо, а все у меня двойится. ... По-немногу я приучился не верить себе, не верить в свою душу, и стал стараться отыскать действительные свойства и меру того, что пережил. Эти искания продолжают до сих пор и должен признаться, я вовсе не твердо надеюсь на успех» [7, с. 238–240], – признавался Н.Н. Страхов. В этом признании важно видеть настойчивое нежелание «добросовестного писателя» поддаваться игре своего воображения, эмоциям и личным склонностям, его упорную борь-

бу за «чистое, объективное созерцание», за «общий смысл вещей» [7, с. 301]. «Что сердце подкупает наш ум, это я очень хорошо знаю и испытал, конечно, на себе много раз. Но что ум считает эти подкупы грехом и всячески стремится избежать их, это я также знаю» [7, с. 301–302].

Отсюда становится понятнее, почему Страхов так негодовал и обижался, когда слышал упреки и подозрения не в хитрости, но во лжи – здесь он переставал понимать шутки и становился совершенно бескомпромиссным. Именно из этой почвы радикального неприятия лжи, по-видимому, росли главные симпатии и антипатии Н.Н. Стрхова – ложь, неискренность неизменно приводили к диссонансу и охлаждению<sup>2</sup>. «В лжи нет никакого спасения, и от лжи ничего кроме вреда не может произойти. Только искренний и добросовестный человек может сделать что-нибудь полезное» [7, с. 369], – писал он в разгар острой, едкой полемики с Вл. Соловьевым из-за книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа».

Свое принципиальное неприятие хитрости лживой, недобросовестной, клеветнической Н.Н. Стрхов торжественно провозгласил еще в 1864 г. от имени Летописца «Эпохи»: «Никто не имеет права видеть в заблуждении не просто заблуждение, а еще дурные инстинкты, обвинять заблуждающихся не в одном неразумии, а еще в безнравственности, в том, что они не хотят знать совести и долга. Точно так же никто не имеет права подозревать искренность чьих-нибудь убеждений на том одном основании, что находит эти убеждения нелепыми и нескладными. Между тем у нас в

литературе самое любимое дело – намекнуть на безнравственность и подлость противника. Иногда это делается по детскому простодушию и смешиванию понятий, по которому человек, увлекаемый своими убеждениями, действительно считает подлостью все, что с ними несогласно. ... Но часто дело происходит и сознательно; т. е. литературный воитель хорошо понимает, что можно не соглашаться с ним в мнениях, будучи в то же время добросовестным и честным, и однако же выискивает всевозможные случаи, чтобы употребить против соперника обвинение в бесчестности, как самое сильное орудие, наносящее самые глубокие раны» [11].

«Не имеет права» в начале цитаты – оборот морально-этической модальности, а не формально-правовой. Стрхов больше заботило и беспокоило состояние общественных настроений, общий тон литературно-публицистических дискуссий, полемик, растущего гражданско-политического движения. «Фальшивая тревога, несомнительная боязнь и озлобление – болезнь настоящего времени» [Там же]. Чем и как лечить эту болезнь? В.В. Розанов вспоминал о своих многочисленных беседах с Н.Н. Стрховым о «родовых, национальных недостатках», внушающих пессимизм в оценке исторических перспектив вклада России в сокровищницу мировой культуры, в общечеловеческий труд «любви к науке, неистощимого интереса к истине, непреодолимого упорства мысли»: «Мы все, со всей нашей тонкостью, при всей нашей даровитости, разменялись на мелочь. Написать благоухающее стихотворение,

<sup>2</sup> По поводу «остроумной и шутилой» (Б.А. Модзалевский) критики Вл. Соловьевым книги Н.Н. Стрхова «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)» (1887) у него вышла крупная размолвка не только с самим Вл.С. Соловьевым, но и с поддержавшими его А.А. Фетом и Н.Я. Гротом. «Вот мои судьи, бесценный Лев Николаевич! И все три знакомы со мной и не раз выражали, что любят меня. Стыдно Соловьеву подумать, что я лгу, да стыдно и Фету поверить такой мысли. Когда же я лгал? Зачем мне лгать на старости лет? Что за гнусность! Не знаю теперь, что делать. ... Я принялся думать, отчего же все это вышло? Не понимаю. Грот – мальчик, не имеющий никакой состоятельности в мыслях. Но Соловьев? Как же он не понял книги? И если он не понял, кто же ее поймет? ... Такого огорчения и недоумения я еще не испытывал в жизни. Не верят! Знали меня так долго и говорили, и уверяли в дружбе, – и не верят моим словам! И обнимают за это!» – жаловался Н.Н. Стрхов в письме А.Н. Толстому 12 марта 1887 г. [7, с. 347].

оценить бутылку старого вина, оценить женщину... – ну, конечно, кто же это может кроме русского, тут он маэстро; но исследовать, но изучить, но дать прочные основания чему-нибудь или развить просто какую-нибудь мысль до конца – нет, уж прошу покорно, тут мы с первого шага пас, лежим в лёжку и только охаем от усталости. Это я называю культурой; да нет у нас её, никогда не будет. В самой своей тонкости мы такие же дикари...» [12].

И однако же «неустойчивый и колеблющийся», в том числе и в своем пессимизме, Н.Н. Страхов верил в дальнейшее высокое развитие русского культурно-исторического типа, мечтал о возрастании творческих сил пореформенного общества и делал что мог для просвещения умов, формирования настоящей современной интеллектуальной культуры<sup>3</sup>, и эта широкая общественно значимая деятельность была постоянной средой его личной философской сосредоточенности, чрезвычайного индивидуального интеллектуального усилия. Теперь, через многие десятилетия, мы можем и должны более адекватно оценить культурно-педагогическую миссию этого полузабытого рыцаря Истины эпохи становления современной русской культуры.

### Литература

1. Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2001.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. СПб.: Диамант, 2002.
3. Никольский Б.В. Н.Н. Страхов, критико-биографический очерк. СПб., 1896.
4. Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913.
5. Письма Н.Н. Страхова к Н.Я. Данилевскому // Русский Вестник. 1901. № 3. Т. 272. С. 125–141.
6. Страхов Н.Н. Мир как целое / Предисловие, комментарий Н.П. Ильина (Мальчевского). М.: Айрис-пресс: Айрис-Дидактика, 2007.
7. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870–1894 / Толстовский музей. Т. II. С предисл. и примеч. Б.Л. Модзалевского. СПб.: Изд-во Об-ва Толст. Музея, 1914.
8. Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхов: Полное собрание переписки: В 2 т. / Сост.: Л.Д. Громова, Т.Г. Никифорова; ред. А.А. Донсков. М.: Государственный музей Л.Н. Толстого; Ottawa, 2003.
9. Введенский А.И. Общий смысл философии Н.Н. Страхова. М., 1897.
10. См.: Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии // Философская культура. 2006. № 3. URL: <http://www.hrono.ru/proekty/metafizik/fk303.html>
11. Страхов Н.Н. Заметки летописца // Эпоха. 1864. № 3. С. 1–65; 325–347. URL: [http://az.lib.ru/s/strahov\\_n\\_n/text\\_0380oldorfo.shtml](http://az.lib.ru/s/strahov_n_n/text_0380oldorfo.shtml)
12. Розанов В.В. Памяти Страхова. Рукопись [автограф]. РГАЛИ Ф. 419. Оп. 1. Ед.-хр. 194. Л. 1–9.

### MOTOVNIKOVA E. N.N. STRAKHOV'S THINKING AND VERBAL SKILLS

The article analyzes some of the hermeneutical differences («cunning») in N.N. Strakhov's language and writing style. They hindered the perception of his philosophical work by his contemporaries, but they are essential for the resumption of his legacy in the humanitarian community of our time.

*Key words:* philosophy, critics, method, skill, thoroughness, skepticism.

<sup>3</sup> Стоит напомнить, что Н.Н. Страхов восемь лет преподавал естествознание в гимназиях, затем служил в Публичной библиотеке и Ученом комитете при Министерстве народного просвещения; всю жизнь переводил и рецензировал научные и учебные труды, писал философско-научные и научно-популярные статьи и книги по естествознанию, истории, психологии, литературе, искусству, философии, религии и пр., был «вечным педагогом», по слову В.В. Розанова.